

проводить за ограду дома к станции почтового автобуса. Там, на сухой полынной тропинке, он обнял меня молча, и я в то же мгновение с необычайной остротой печали почувствовал, что это наша последняя встреча. Полтора месяца спустя в маленьком предгорном городишке Казахстана Аулие-Ата, разбирая почту, привезенную верховым на нашу геологическую базу, я распечатал узкий синеватый бланк телеграммы. Сухо и кратко она извещала о смерти М. А. Волошина 11 августа 1932 года. ...

## **Иннокентий Басалаев ЗАПИСКИ ДЛЯ СЕБЯ**

1929 г. у М. Волошина в Коктебеле

Я читал эту книгу с большим удивлением. Она написана давно, но дожила до наших дней. Средневековый Париж и княжеская Суздаль, Европа и Скифия, Рим и Византия живут на ее страницах, сплетаясь в причудливые образы веков и народов. У нее один автор и герой: изысканный декадент, поэт Монмартрских кварталов, русский студент-бунтарь, строитель "гётеанума", верблюжий караван-баши в среднеазиатской пустыне, библиофил, живописец, эллин и француз и трижды русский.

Нет, подумал я. Этот дом, эту дачу, как старинную книгу, надо привязать железной цепью, поставить под стекло и показывать любопытным и странствующим.

Издали он похож на толстую мужиковатую бабу, хозяйски расхаживающую по своему двору. Ближе он кажется седым полным иереем, переодевшимся в желтую блузу и детские штанишки. Иногда он просто русский бородач-мужик. И однажды он был... паном. Не врубелевским - болотным, студенистым, волшебным. Нет. Обрусевшим паном эллинов.

Я видел его однажды в роли заклинателя. У киноактрисы Гали<sup>892</sup> болела голова. Задрапированная в розовую полукупальную комбинацию, Гали с хорошей театральной искренностью держала свою кинематографическую ладонь. Он в желтом и длинном камзоле-блузе, в открытых сандалиях, блестя пенсне, водил по ее ладони своими короткими полными пальцами, казалось, знающими все тайны исцеления, и молча заговаривал.

На знойном дворике было пусто. В воздухе стояла горячая тишина. Случайно проходящие мимо гости не могли сдержать улыбок. Равнодушно смотрело небо, привыкшее ко всему.

Море в Коктебеле. Необычное. Ни ресторанных декораций ялтинской набережной, ни *carte-postal'*ных скал Гурзуфа, ни алушкинского львиного уюта. Там по берегу - бутафорские нимфы князя Юсупова, беломраморные графские лестницы, здесь камни, скалы и рыбацьи лодки. Вместо простодушного татарского занавеса Алушты, расшитого трафаретными кипарисами, - лысые головы гор да изредка низкорослый кустарник с двумя-тремя сухими графическими деревьями. В Ялте тесное море. Такое тесное, что даже есть ванны с пресной и морской водой. В Ореанде и Дюльбере море как нарядная женщина. Море в Коктебеле простое и древнее, как Гомер.

В сумерки вышли на берег - Максимилиан Волошин, Всеволод Рождественский, Аскания-Нова<sup>893</sup>, я, Ася<sup>894</sup>, еще кто-то. Прошли мостик. Под ногами песок. Скатавшиеся, выброшенные на берег морские травы. Галька. Волошин рассказывает один из греческих мифов. Его очень занимает выдумка о пребывании на коктебельских берегах Одиссея,

---

<sup>892</sup> 580 Гали - так звали в "Доме поэта" Галину Николаевну Кошелеву (по мужу Розанову, 1900-?), но она была служащей Госплана; киноактрисой была отдыхавшая в Коктебеле Галина Сергеевна Киреевская (1897-?).

<sup>893</sup> Прозвище орнитолога Елизаветы Владимировны Козловой (1893-1976), жены одного из руководителей заповедника Аскания-Нова.

<sup>894</sup> Раиса Гинцбург.

сосланного сюда богами мести за свои проступки. Ася придирается к какому-то слову и начинает задавать скучные, один за другим вопросы, все начинающиеся "а почему", "а зачем", "а для чего". Максимилиан Александрович принужден кончить миф улыбкой и тут же сочиненной концовкой: "А потому, что эти боги мести были созданы для наказания людей, надоедавших им своими неразумными просьбами".

- Надо как-нибудь отвлечь Макса от нее, - шепчет Всеволод.

Останавливаемся и меняем путь и разговор.

...Вот в сумерки он похож на пана. Неуклюжая фигура. Ветер шевелит седой бородой. Голые ноги... Досадно, что нет легенды. Но...

Конечно, раньше он был паном. Вылезал вечерами из моря или горного оврага, садился на песок и читал морским водорослям свои стихи. Ветер вот так же шевелил его бороду, вода облизывала его волосатую полную ногу. Горы слушали. Выползала морская луна и, удивленная, заслушавшись, останавливалась на одной из вершин Карадага. Но однажды пана поймали в сети рыбаки коктебельские. Прошли годы. Пан постарел, преуспел во многих человеческих науках, съездил в дальние страны, из которых больше всех ему понравилась Русь и Россия. Вернулся в Коктебель. Надел на пышную голову сапожный ремешок, как нимб. Луну, море и горы, в знак памяти, пишет теперь в своих акварелях. Но уж по ночам у моря не сидит - он спит в кровати, - и морская волна не облизывает ему теперь тщательно выбритую ногу.

Замер дух - стыдливый и суровый,

Знаньем новой истины объят.

Стал я ближе к плоти, больше людям брат<sup>895</sup>.

Днем в коридоре мимоходом слышу: "Нет, вы не пойдете. Сейчас у вас ванна".

Голос Макса: "Да, у меня сейчас ванна".

На секунду останавливаюсь, потрясенный. Оказывается, пан купается в ванне...

Он - седой. У него небольшая борода лопатой. Странно глядит его портрет маслом, висящий над лестницей, - на нем он написан с медными горящими волосами.

Он не любит электричества, кино, радио. В кабинете ночами сидит с керосиновой кухонной лампой. Вечера на террасе проводим с фонарем.

А рядом в колхозе резонерствует громкоговоритель радиоприемника. Проходя вечером мимо колхозного огорода, мы слышим, как громкий радиобас рассказывает о пользе коллективного ведения хозяйства.

- Однако, как ни старается Макс уйти от новшеств, они наступают на него со дня на день, - говорит Всеволод.

...Любит желтый цвет.

Желтый занавес. Желтая рубашка. Желтая ширма.

Каждый день упорно, систематически, по привычке, выработанной годами, пишет утрами акварели.

Кладет перед собой листик плотной бумаги. Прикалывает его кнопками к доске. На столе расцветают белые фарфоровые чашечки с красками, в стакане ждут десятки тонких кисточек.

Иногда сначала набрасывает карандашом легкие контуры гор, развалины береговой стены или башни. Но в каждом рисунке одна тема - море. Море ночное. Море солнечное. Море лунное. Горное море.

Море от светло-зеленого до тяжелого коричневого. Намеренное пренебрежение жирным и сочным. Скупой четкий пейзаж гор. Черный абрис голых деревьев. Акварельная графика.

Рисунок начинает легко, не задумываясь. Пишет его быстро и машинально. Кончит

---

<sup>895</sup> 581 Первые строки стихотворения Волошина, напечатанного без названия в его сборнике "Иверни". Впервые это стихотворение опубликовано в газете "Биржевые ведомости" (1915. 25 декабря) под заглавием "Грехопаденье".

один, приступает к другому. Этих акварелей за несколько лет накопились многие альбомы. Может быть, по ним когда-нибудь будут изучать душевную настроенность автора.

Но мне кажется, он пишет акварели, не видя их. В движениях его руки нет сосредоточенности, - его мысли далеко где-то, и рука ходит привычно - в ее жестах ни задумчивости, ни волнения. Как будто эти утренние акварели выдуманы здесь для того, чтобы убить время, создать спокойное течение дня. Этими же акварелями одариваются все гости. А гостей бывает много.

К полудню вся комната наполняется солнцем. Тогда он прикалывает к раме окна кусок картона. На бумагу падает тень. Чуть-чуть пахнет вымытым некрашеным полом, свежестью морского утра и множеством книг. Устанавливается почти осязаемое равновесие между солнцем, утром и тишиной.

Но это длится недолго. Кто-нибудь приходит. Или надоевшие Далик<sup>896</sup> и Ася с расспросами, стихами и неловким молчанием. Или мы с Всеволодом. Начинаются разговоры о стихах, о литературе, о книгах.

Вечером он читал свои записки о художнике Сурикове. Скорее, это были рассказы из жизни художника. Сурикова Волошин помнил еще в молодости, когда жил в Москве. Там, в Новой Слободе, художник, писавший тогда "Боярыню Морозову", был его соседом. Детство Сурикова глядит с этих страниц свирепым, медвежьим. Многолюдные открытые казни на торговых площадях. Чудовищные палачи. Буйные люди, не знавшие, как пользоваться своей энергией. Нравы кулачного права. Быт Красноярска начала XIX века. Жестокое детство. Детство, воспитывавшее фанатизм Аввакумов.

Кстати, образ этого расколоучителя XVII века, протопопа Аввакума, просидевшего четырнадцать лет в земляной тюрьме Сибири и не отказавшегося от своих убеждений, увлекает Волошина. ...

Весь дом, после крымского землетрясения, опоясан железным кругом, как старая книга в железных застежках. Крепче. Дом большой, двухэтажный, с многочисленными лестницами, балконами, каморками, с жилым чердаком, обросшим дедовской пылью и легендами.

О, эти пыльные бутылки, треснувшие глиняные кувшины, кованые бабушкины сундуки, недоломанные кресла и изгрызенные мышами книги - вас любят дети и поэты!

Одна четвертушка чердака была нам с Всеволодом спальней. Во дворе три флигеля. На чердаке одного из них, по преданию, Николай Гумилев писал своих "Капитанов".

Вот уезжают гостившие на даче старики Котляревские<sup>897</sup>. Во дворе прощание. Степенные поцелуи. Сдержанные объятия. Какие-то дедовские шляпки, баулы. Старомодные сюртуки, похожие на чемоданы, огромные антикварные дождевые зонты. Женщины в длинных, просторных платьях забытого покроя и цвета. Мужчины с сердитыми толстыми тростями. Заботливые напутствия хозяев, вежливые поклоны гостей. Какая-то необычайная старина в жестах, в улыбках и словах. Нелепая трогательная церемония, слетевшая со страниц дореволюционной "Нивы". Вся сцена прощания - как фотография из выцветшего семейного альбома прошлого столетия. Да, тут умеют прощаться - долго и терпеливо. Конечно, тут же и неизменные фотографии.

Об этих фотографах отдельно. Обычно каждый приезжающий сюда, кроме одеяла, привозит и "кодак". И без счета, к месту и не к месту щелкает им куда попало.

Максимилиан Александрович говорит, смеясь:

- Снимаемся мы раз десять на день, а фотографий своих не видим никогда.

Волошин хорошо владеет иронией. Оттого постоянно чувствуется расстояние между ним и объектом. Все рассказы его прошиты иронической ниткой мастера, познавшего

---

<sup>896</sup> Даниил Дмитриевич Жуковский (1909-ок. 1939) - сын А. К. Герцык и Д. Е. Жуковского.

<sup>897</sup> Котляревский Сергей Андреевич (1873-1940) - историк и юрист. Его жена Екатерина Николаевна - врач.

богатство и нищету материала. Рассказывает ли он о прошлом Коктебеля, об играх дачных детей, или о греческих мифах, или о своих гостях, - ирония оживляет, сравнивает, снижает, восхищает, но никогда не убивает. ...

По двору в кухню идет высокий, с маленькой головой и как бы срезанным затылком Евгений Замятин. У него налаженные отношения с кухней. Он ходит туда за водой для бритья, заказать обед или поговорить с хозяйкой. ...

Идем с Всеволодом к Евгению Ивановичу.

Замятину нравится, что дверь его флигеля можно держать день и ночь открытой. Это не Ленинград.

В его прохладной комнате - кирпичный пол, жесткая низенькая железная кровать, табуретка и окно, заваленное коробочками, газетами и обрывками бумаги.

Евгений Иванович сидит без рубашки (худой, загорелый торс, крепкие мышцы) перед складным зеркальцем и неторопливо, терпеливо, - как всегда, что бы он ни делал, - бреется безопасной бритвой.

- Как вам нравится моя комната?

- Комната нравится, - отвечает Всеволод, - но ведь мимо ходят целый день!

(Надо сказать, что тропинка к двум деревянным культурно-"нужным" домикам, называемым всей дачей "гробами", вела мимо замятинского флигеля.)

Замятин в ответ острит:

- Изучаю утробную жизнь наших обитателей.

Сегодня Замятин уезжает в Судак.

Он долго и неловко связывает свой портплед - то книги не входят, то какая-то коробка торчит. Нет, не умеет он собраться в дорогу, - и весело улыбается. Все трое снова перекаладываем вещи и, смеясь над замятинской непрактичностью инженера, кое-как связываем злосчастный портплед.

- Я хотел все сложить в одно место, вот оттого он и вышел таким неладным. ...

Потом компанией провожаем его до автобусной станции. В ожидании автобуса рассаживаемся на перила маленькой станционной террасы. Едим арбуз.

Молодые женщины интересуются Евгением Ивановичем и настойчиво допрашивают, какая у него жена. Он улыбается, шутит. О жене не рассказал.

Дачу он назвал: "волхоз" - волшебное вольное волошинское хозяйство"<sup>898</sup>. ...

Не помню, почему зашел разговор о Кузmine. Максимилиан Александрович говорил:

- Он мне показывал некоторые свои дневники. Правда, это было очень давно. Они главным образом посвящены интимному быту. Но интересные дневники и прекрасный язык, по нему когда-нибудь будут учиться русской прозе.

... За вечерним чаем Зоя Лодий<sup>899</sup> делилась воспоминаниями о своем отце, директоре цирков прошлого столетия. Кто-то рассказал о театре. Вспомнили и театральные курьезы. Волошин рассказал случай, который впоследствии Зоценко положил в один из своих рассказов ("Случай в провинции")<sup>900</sup>.

Волошин, Алексей Толстой, одна балерина и певец как-то устраивали литературно-музыкальные вечера. В одном из южных городов долго не могли найти

---

<sup>898</sup> 582 Е. Замятин так надписал Волошину вышедший под названием "Север" 4-й том своего "Собрания сочинений" (в 4-х т.) (М., 1929): "Милому хозяину Коктебельского Волхоза (Волошинского Вольного Волшебного Хозяйства) в день 17-VIII- 1929".

<sup>899</sup> Лодий Зоя Петровна (1886-1957) - камерная певица.

<sup>900</sup> 583 Случай, о котором идет здесь речь, произошел в 1912 году. Рассказ М. Зоценко "Случай в провинции" написан в 1924 году. Об этом же рассказал в своих воспоминаниях Л. Никулин, находившийся среди зрителей литературно-музыкального вечера с участием Волошина и А. Толстого (Никулин Л. Годы нашей жизни. М., 1966. С. 260-261).

свободного зала. Наконец помещение было найдено - зал им был уступлен потому, что предполагавшееся чье-то выступление не состоялось. Вышел на сцену Толстой. Читает. За ним певица. Публика при ее виде аплодирует. Потом выступает с чтением стихов грузный Волошин. Аудитория, увидя его, аплодирует еще громче. После Волошина выбегает тоненькая балерина. И не успела она показаться - публика неистовствует. А когда они кончают номер - зрители молчат. Концертанты в недоумении. Почему аплодируют не после окончания номера, а перед ним? В городе их не знали. Наконец за балериной опять выходит полный Толстой. Публика уже входит в раж, гремит стульями, кричит "браво" и "бис". Словом, концертом остались все довольны. Сами выступающие хотя и со смущением, но охотно приняли эти восторги. На другой день оказалось, что аудитория принимала концертантов за трансформатора<sup>901</sup>, выступление которого, назначенное в этот день, не состоялось. ...

На другой день вашего пребывания в Коктебеле, когда вы ознакомитесь с окружающими, вас будут знакомить со здешними достопримечательностями: поставят спиной к дому и лицом к Карадагу и покажут - направо профиль маски мертвого Пушкина - изгибы горного хребта будто бы создали эту необыкновенную линию. Левее, там, где скалы, казалось, должны упасть в море, - другой профиль - Максимилиана Волошина.

И на скале, замкнувшей зыбь залива,  
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Впрочем, таких "масок" по Южному побережью Крыма разбросано много. В Алуште, например, показывают профиль Екатерины Второй.

После обеда пошли с Всеволодом Рождественским на Карадаг. Тропинка вьется между скал и редких кустарников, то падает на дно высохших горных ручьев, то взлетает на голые открытые площадки и вдруг пропадает. Карадаг по преданию - потухший вулкан. Его вершина усеяна тяжелыми камнями черно-серого цвета, напоминающими застывшую лаву. По краю кратера, одной стороной низвергающегося в море, - острые громадные утесы, торчащие как вызов; разрушаясь в течение многих десятков лет, они под действием ветров принимают фантастические формы какого-то взволнованного доисторического пейзажа.

У Волошина в стихах о Карадаге есть такая строчка: "напряженный пафос Карадага"<sup>902</sup>.

С вершины коктебельский залив кажется половинкой разбитого блюда, цвета густой сливы. Сверху не знаешь, чего больше - моря или неба.

С нами в горы хотела пойти Овечка - одна из гостей, называемая так между нами за свой тихий и скромный характер. ... Овечка отставала, и мы разошлись с ней тропинками. Вечером возвращаемся, нас спрашивают об Овечке. Оказывается, она еще не вернулась. В доме поднимается переполох.

Первая мысль всех: заблудилась. В горах, в темноте, без дороги, заблудиться легко. Тревога быстро передалась всем. Но никто не знал, что делать. Максимилиан Александрович заволновался. С зажженным фонарем и палкой-посохом он собрался идти на поиски. Кричал, распоряжался. Темнота густела. По двору заметались люди. Перекликались голоса. Кто-то звал хозяйку дома: "Маруся! Маруся!" Молча стояли испуганные археологи, их считали прямыми виновниками происшествия: Овечка сначала пошла с ними, но дорогой свернула.

Все это было похоже на прекрасно сыгранную сцену из средневековой драмы. Обострившаяся настороженность. Предчувствие опасности. Резкие интонации. Быстрые движения действующих лиц в темноте импровизированной площадки. Пыльные плащи, босые ноги в туфлях. Фонарь в руках Волошина создавал самые неожиданные театральные эффекты, освещая то худые ноги археолога, то дальний куст или женское платье. По всему

---

<sup>901</sup> Т. е. иллюзиониста.

<sup>902</sup> 584 Строка из стихотворения Волошина "Коктебель" (1918).

двору, по стенам дома метались огромные тени, похожие на гигантские крылья несуществующих птиц. Мы молчали. Казалось, сама темнота, как суфлер, подсказывала слова и паузы. И даже простая житейская Мария Степановна с большим чувством меры, не выдавая своего волнения, провела сильную короткую роль, успокаивая и отговаривая от поисков.

Я не знаю, чем бы все это кончилось, но через пять минут вернулась пропавшая гостья - запыленная, усталая и улыбающаяся нашим испугам.

Но уже пора было дать занавес. Фонарь потух. Зашуршало море, о котором мы забыли. Все с облегчением шли пить чай.

Рассказывают, что такие импровизационные спектакли ставятся каждое лето с прибытием новой партии гостей. ...

На руках хозяйки Марии Степановны - весь дом: Макс, гости, чистота и порядок. Ее часто можно видеть с веником в руках или с иглой и ножницами. На даче ее называют Марусей. В жаркие дни она надевает полотняные мальчишеские штанишки и сразу тогда теряет свою последнюю женственность.

Она не пишет стихов, не рисует, не танцует. Она поет. Однако это очень своеобразное пение, без готовых канонов, без памяти. У ней свои мотивы, свои мелодии, каждый раз новые, каждый раз вновь придумываемые. Потому ей иногда бывает трудно повторить одну и ту же песню. Как-то после ужина она пела "Зарю-заряницу" Сологуба<sup>903</sup>.

Несмотря на некоторое однообразие и унылую форму лейтмотива, в ее пении - простом и несложном - всегда важен тон, окраска вещи; она умеет вложить в песню свое отношение к словам, дать в ней свой голос.

Это очень самобытное пение. Так поет птица, так поет простоволосая деревенская женщина - для себя, для своего сердца, для своего ребенка.

Она чрезвычайно внимательна к Максимилиану Александровичу. Ее заботливость изредка сердит его. Но она всегда умеет найти примиряющий тон.

... Работающая в одном из московских музеев гостья рассказывает о своей командировке в прошлом году в Италию, прибавляя:

- Из экономии средств я часто ездила в третьем классе, и, может быть, поэтому я меньше вас видела.

Максимилиан Александрович смеется.

- А вы думаете, я был богаче? Я всегда ездил только в третьем классе, а то больше ходил пешком. Ездить в третьем классе интереснее, не встречаешь, по крайней мере, туристов, путешествующих ради скуки. И настоящего итальянца видишь только в третьем классе.

... Обедаем на террасе за длинным некрашеным столом без скатерти. Ужин - в "музыкальной" (там стоит рояль). У каждого есть свое место. Каждый гость приезжает со своей чашкой и ложкой. Мужчины по очереди носят к чаю огромный полутораведерный самовар.

Волошину в этом году исполнилось пятьдесят два года.

Дни его годовщин на даче каждый год отмечаются шумными и веселыми празднествами - самодеятельными спектаклями, концертами и играми. Больше всего, конечно, веселятся сами гости, ибо приготовления к спектаклю начинаются задолго до самого праздника. К участию привлекается почти все население дачи, и репетиции идут днем и ночью при общем хохоте, с различными курьезами и выдумками. Однако от виновника торжества все это держится в тайне, и хотя он, несомненно, знает, что происходит, и все слышит, но вход на репетиции ему строго запрещен.

- Меня, к сожалению, лишают, - говорит с притворной досадой Максимилиан

---

<sup>903</sup> 585 Имеется в виду стихотворение Ф. Сологуба "Заря-заряница...". О том, как пела эти стихи Ф. Сологуба М. С. Волошина, см. также в воспоминаниях Е. Архипова.

Александрович, - всех этих удовольствий. Мне приходится в эти дни или делать вид, что я ничего не вижу и не слышу, или сидеть одному в кабинете. Все комнаты в эти дни заняты, и отовсюду меня изгоняют. В одной - пишется декорации, в другой - репетируют музыканты, в третьей - шьют костюмы. Мне оставлено только одно - терпение.

Много рассказывают о спектакле, в котором пришлось участвовать Андрею Белому. Была поставлена музыкальная пантомима из японской жизни. Сергей Шервинский написал либретто. Композитор Юрий Тюлин<sup>904</sup> - музыку. Андрей Белый изображал американского офицера. И, говорят, исполнил свою роль неплохо, даже в иные моменты эффектно. До сих пор вспоминают его широкие жесты и огромные шаги по маленькой сцене.

... Иногда вечерами устраиваются чтения стихов молодых.

Максимилиан Александрович принимает в них участие по обязанностям хозяина. Сидит, хвалит: "Хорошо, очень хорошо". Потом, загипнотизированный монотонным чтением, закрывает глаза и дремлет. Мария Степановна делает ему тихонько замечание, он вскинет пенсне, промывает протестующе, и опять послышится его ровное дыхание. И сидит, тяжелый, сонный, уставший за день, скрестив толстые голые ноги под стулом. Седые волосы перетянуты ремешком. Полные руки на коленях коротких штанишек. Бороду на грудь. А вокруг беленые стены, освещаемые керосиновой лампой, слушающие люди, даже сидят на полу, некрашенный длинный стол и черный рояль. В раскрытые окна тихо шепчет море.

Книги заменяют стены. Книги занимают два с половиной этажа его обиталища - мастерскую, верхний ярус с лестницей и кабинет. Здесь одна из самых богатых библиотек бывшей России. Большое место отдано французам. Конечно, есть "Весы", "Аполлон", "Новый путь", "Золотое руно", "Скифы". И много старинных русских книг. Мастерская в три окна, больших, узких и высоких, полукругом. Кроме книг - собрание вещей и безделушек со всех стран, начиная от Египта и кончая Средней Азией. Столы завалены рисунками, красками, кистями, бумагой.

Мы собирались ложиться спать. Шел двенадцатый час. Дом затихал. По далекой гальке тяжело прошуршали последние шаги. Со двора слабо донеслось что-то "спокойной ночи". Где-то внизу закрыли дверь, и из углов поползла тишина. Только в открытое окно чердака мерно и шумно вздыхало море и, как будто уставшее за день, затихало.

При свете свечи - ночной свежий воздух колебал ее пламя - Всеволод кончал переписывать написанные днем стихи.

Слева за выступом стены скрипнула дверь и послышались толстые шаги.

- Вы еще не спите? - теноровый знакомый голос.

- Пожалуйста, Макс! - привстал Всеволод. - Входи!

(Они на "ты".)

В туфлях на босу ногу (он летом не носит чулок), в рабочей блузе, с маленькой керосиновой лампой в левой руке и с листиками бумаги в правой, входит Волошин.

- Мы еще занимаемся стихами...

- А что у тебя тут такое? - ставит лампу на стол Максимилиан Александрович. - Ты мне это читал? А-а.. Ну, прочти еще раз.

Всеволод живо:

- Я хотел бы тебя, Макс, попросить нам что-нибудь прочесть. Днем ты занят и всегда кто-нибудь мешает...

- Да, эти гости, - понимающе смеется хозяин. - Ну что ж, давайте почитаем. Я принес "Сказание".

Он сел на край кровати, подвинул лампу ближе (Всеволод потушил свечу). Поднял тонкий, папиросной бумаги лист на уровень лица, ближе к блестящим пенсне, и прочел:

- Сказание об искушении инока Епифания бесами<sup>905</sup>.

---

<sup>904</sup> Тюлин Юрий Николаевич (1893-1978).

<sup>905</sup> 586 "Сказание об иноке Епифании" закончено Волошиным 16 февраля 1929 года. Епифаний - духовный

Здесь, на чердаке, он показался другим. Во дворе, в столовой, в кабинете днем это был пышный, гостеприимный хозяин, самовольно заточивший себя поэт, самоуверенно носящий свою седую голову, увенчанную черным ремешком, бывший соратник Бальмонта и Брюсова, немного торжественный, в меру ироничский.

Здесь перед нами сидел по-домашнему простой, оживленный старик, с короткой полной шеей и толстой спиной, полнота которой ему явно мешала. Его спутанные - в этот час без ремешка - волосы лезли в глаза, он смахивал их со лба легкой рукой, снимая пенсне и становясь на секунду незнакомым. Грузное тело его, осевшее на кровати, было неуклюже и нескладно.

Свои стихи он читает немного нараспев, протяжно, ровным голосом, как старинное повествование или житие, по-особому выговаривая слова XVII столетия. "Сказание об иноке Епифании" написано в стихах. Чудовищная в наше время тема должна восприниматься иронически. Но, благодаря наивности тона, искренности и духу примитива, сказание трогательно живо.

Евгений Замятин сделал такую надпись на книге: "Я не Евгений, а Епифаний, меня тоже бесы одолевают"<sup>906</sup>.

Максимилиан Волошин свое сказание называет современным.

Кстати, о Замятине распространено мнение как о сухом, черством человеке. По-моему, неверно. Это страстный, умеющий жить и живущий всеми сторонами своего физического существования человек.

... У Всеволода с Максимилианом Александровичем давняя дружба. Они относятся друг к другу как равные. Ни тени превосходства, ни знаков подчинения. ... Часто мирно спорят между собой. ...

В каждую свою поездку в Крым считает своим долгом зайти на дачу Василий Десницкий<sup>907</sup>. А в Крым он ездит каждый год, собственно, ездит в Гаспру. Он старожил этих мест, и Гаспра, как он говорит, "рождалась на его руках". Волошин прочитал ему свои стихи - "Сказание об искушении инока Епифания бесами". Тема для коммуниста Десницкого чуждая. Но он молча выслушал все, не хваля, не порицая.

У Десницкого большая литературная культура, годы жизни в Европе, встречи с Лениным, дружба с Горьким, страсть к собиранию редких книг и неистребимая любовь к русскому человеку. Он и внешне, и душевно типичный старый русский человек: реденькая сивая бородка, неторопливый голос, скромная одежда, спокойные жесты и умные, с хорошей хитринкой, далеко тебя видящие сквозь простенькие очки глаза.

На Волошина он смотрит так, как будто хочет сказать: "Ну что ж, вот и еще раз встретились. Мы - старики с тобой, у каждого была своя судьба. Однако было у нас много такого, о чем можно вспомнить и теперь, после революции. Революция многое изменила в наших взглядах. Но у нас одна родина; мы прожили жизнь в одни и те же годы, хотя по-разному на них смотрели. Вижу, еще стихи пишешь? Любопытно! Ну что ж, будь здоров. Что же мне тебе еще пожелать?"

После его ухода Максимилиан Александрович удивленно поднимает плечи и смущенным голосом говорит:

- Удивительный человек...

---

наставник протопопа Аввакума, сожжен вместе с ним в 1682 г.

<sup>906</sup> 587 Е. Замятин подарил Волошину 1-й том своего Собрания сочинений, вышедший под названием "Уездное" (М., 1929), с такой надписью: "Дорогому Максимилиану Александровичу Волошину на память о вечерах в Коктебеле от Е. Замятина (читать надо не "Евгения", а "Епифания" - ибо судьба моя - судьба Епифания-инока). 6-IX-1929".

<sup>907</sup> Десницкий Василий Александрович (1878-1958) - общественный деятель, литературовед.



(О Десницком тут рассказывают, что он брат сиа́мской королевы<sup>908</sup>. У какого-то сиа́мского короля - жена русская, сестра Десницкого, которую молодой сиа́мский принц увез из Киева в далекие годы, до революции, когда та еще была гимназисткой. Об этом есть рассказ Виктора Шкловского в его "Гамбургском счете" и впоследствии расскажет в своих "Далеких годах" Константин Паустовский в первом - журнальном - варианте.)

Музыканты, поэты, артисты, живописцы, писатели, критики, ученые, журналисты, то живущие месяцами, то заглядывающие на два-три дня, - вот здешние гости. Здесь можно встретить людей самых разнообразных мировоззрений, привычек, возрастов, профессий, вкусов. Если летом дачу посещают экскурсанты по Южному берегу Черного моря, а в конце июля августа - писатели, то осенью наведываются летчики-планеристы. Здесь удобные площадки и подходящие воздушные течения. ...

За чаем Шервинский-отец, директор Сухумского обезьянника<sup>909</sup>, рассказывает об интересных работах своего учреждения. ...

Шервинский-отец - представитель старомосковского врачебного мира, человек с традициями вымирающего племени. Про него тут говорят: бывшая глава русской медицины. Он стар, высок, сух. Ест кашу. Носит старомодный чесучовый пиджак и мягкую соломенную шляпу. Даже в самый жаркий день он надевает белый стоячий воротничок. У него высохшие узловатые пальцы. В руках палка. Он медлителен в походке и жестах. Неодобрительно поглядывает на говорливую молодежь. Малоразговорчив. Но, вспоминая о далеком прошлом, бывает словоохотлив и прост: как-то даже пытался, после долгих упрасиваний, спеть один романс, популярный в его молодости.

Шервинский-сын<sup>910</sup> - здесь на правах добровольного затейника. Он устраивает концерты, спектакли, поэтические конкурсы, пантомимы, одним словом, как называют эту роль в обыкновенных домах отдыха, он - культурник здешней дачи.

В прошлом году в Коктебель к Волошину приезжали конструктивисты с Сельвинским и Верой Инбер по главе. Шли горячие споры о современном искусстве, поэзии и литературе.

У Максимилиана Александровича двойственное отношение к гостям. Кончается холодная зима - приходит солнце, тепло, люди, которых он любит и без которых ему трудно жить, но с ними кончается и своя работа. А с октября опять ветры, штормы и одиночество. Очевидно, к концу лета надоедают люди и втайне хочется скорее остаться одному, с незаконченными стихами, старыми книгами и новыми мыслями. ...

Как-то Рождественский нашел на калитке приклеенный листок бумаги с протестующей надписью, вроде того, что, мол, если на даче живет Замятин, то что можно сказать о других, видимо, и они не лучше его.

Листок, по предположению, был написан живущими в соседнем доме отдыха. Наверное, и там были люди, интересующиеся литературными делами.

... Волошин пользуется правом выписывать из Западной Европы некоторые художественные журналы и книги.

На даче газета крепко вошла в быт. Читаются "Правда", "Известия", "Вечерняя Москва" и, конечно, "Литературная газета".

Во всех вечерних и в "Литературной" в этот месяц много писалось о Евгении Замятине

---

<sup>908</sup> 588 Женой сиа́мского принца была Екатерина Ивановна Десницкая (1888-1960) - двоюродная сестра В. А. Десницкого См.: Купченко В. Принцесса Катя Десницкая. - Уральский следопыт 1985. № 11; Скворцов В. Принцесса Катя Десницкая. - Огонек. 1986. № 41, 42.

<sup>909</sup> 589 В Д. Шервинский был директором Московского института экспериментальной эндокринологии, в ведении которого находился обезьяний питомник в Сухуми.

<sup>910</sup> Поэт Сергей Шервинский.

как авторе романа "Мы"<sup>911</sup>. Бранили и требовали оргвыводов. Каждый номер газеты на даче буквально рвался. Каждое новое сообщение о Замятине обсуждалось горячо всеми. Сам Замятин, надо отдать ему должное, держал себя спокойно.

Перед отъездом Замятин показал письмо-ответ, которое он хотел послать в редакцию "Литературной". Письмо было небольшое и сжатое. Во всяком случае, оно претерпело, видимо, много, прежде чем было послано в газету. В "Литературной" было напечатано письмо длинное и острое. В нем Замятин заявлял о своем выходе из Союза писателей.

В день моего отъезда у автомобильной остановки встречаем Якубинского<sup>912</sup>. ...

Автомобиля нет. Сажусь на линейку.

- Мы еще о многом, жаль, не поговорили, - все отставая от линейки, говорит Всеволод. Моросит дождь. С холма еще кусок моря, серого, тяжелого. Спускаемся, оглядываюсь. Далеко висит скала с выдуманым волошинским профилем.

### **Моисей Альтман ЦАРЬ КИММЕРИИ (Из дневника 1929 г.)**

8 августа. Коктебель - "Голубые горы". Из Феодосии ехал автомобилем. Море по пути за горами надолго скрылось. И вдруг синевой плеснуло в глаза. Безукоризненно правильный, как по циркулю, сектор водного вьема и мыс точно отточенный. Так красиво, что даже подозрение берет: не нарочно ли, не картина ли. И вспоминаю - отсюда ведь картины и пошли: "крымские виды". И столько их, что ток пошел и обратный: от крымских видов зачался Крым. И мне открылся также крымский вид: "вид на море и скалы".

Я увидел его наконец, царя Киммерии. Как и подобает варварским владыкам, он страшно толстый: его не только руками, почти глазами не охватить. ... Столько тела, что спрашиваешь себя: а где же душа, может ли она здесь быть, не заплыла ли, не растворилась ли? Но как же ей быть? Вспоминаю, сопоставляю с ним самим стихи его и не могу их согласовать: не накладываются творения на творца, не совпадают. И, значит, не понял я чего-то: или поэзии, или поэта. Ибо все ж: творение и творец - одно. Или не одно?

9 августа. Только что в мастерской, где я поместился, навестил меня Максимилиан Александрович. Я ему читал свои "Звериные" сонеты. По поводу "Осла" он мне: "С каким воззрением вы, собственно, полемизируете? Осел глупец: ведь это крыловско-лафонтеновское понимание, так об осле не думали ни..." (и он назвал мне лица и сочинения, никогда мной до того не слышанные, в которых осла понимали должным образом) Я согласился, что, пожалуй, я действительно стрелял здесь из пушек по воробьям. Затем Максимилиан читал свои стихи.

Читает он без всякой напевности, отчеканивая и выбрасывая с огромной силой каждое слово, а слова эти между собой никаким цементом связок и частиц не соединены, держась друг на друге собственной своей тяжестью. И язык его в огромном рту словно камни ворочает и выбрасывает за "ограду зубов" (сказал бы Гомер) прямо в уши, разрывая их, и сквозь них - прямо к вам на дно, я бы сказал, даже не души (это звучало бы розово), а внутренностей, желудка, живота: так весь организм им потрясается. Его слова в его чтении действуют почти физически. И стихотворение в целом - циклопическая постройка. Огромное количество полновесных слов производит впечатление не риторики, а, скорей, примитива, варварского, а не декадентского богатства, силы дикаря, а не блеска француза. А я ведь его именно за француза принимал, в его мастерстве словесном чудилась мне *chétoeuvre*<sup>913</sup>

<sup>911</sup> 590 В 1929 году Е. Замятин подвергся нападкам за публикацию романа "Мы" (1920) за рубежом

<sup>912</sup> Якубинский Лев Петрович (1892-1945) - лингвист и литературовед.

<sup>913</sup> Творчество (франц.)